
Взметнулась стая птиц и скрылась в облаках.
Как мудрый сфинкс, взирает кот на крыше.
Мир с нами говорит на стольких языках,
что лишь профан их может не расслышать.

Читаю не с листа — с зелёного листа,
где с пол-росинки всё понятно сердцу.
И речь ручья проста, прозрачна и чиста,
не нужен перевод единоверцу.

Не лезьте в словари, тетради беребя.
Всё в воздухе висит, чего уж проще.
Я слышу мир людей. Я слушаю себя.
Читаю с губ и двигаюсь наощупь.

Словно слёзы брызнули -
так слова легки.
Радость бескорыстная -
песни да стихи.

За цветными реками
дождик полосат.
А писать их некому
— выбыл адресат.

Но в бутылку вложено
и — на дно стихий.
Я к тебе из прошлого!
Прочитай стихи!

Домик

Ко дню рожденья домик мне прислали.
Спасибо, Лен, за этот щедрый дар!
Как он хорош! Ну что ж, что в виртуале.
И сразу вспыхнул памяти радар:

Снесённый дом. Уплывший в Лету дворик.
Я - среди давно потерянных подруг.
В панамке детской — сгинувшем уборе -
я раньше всех запрыгиваю в круг:

«Чур-чур я в домике!» Успела от погони!
Не страшен мне ни волк, ни тёмный лес.
Укрыли мела милые ладони...
Мне детский крик мой слышится с небес:

«Чур-чур я в домике!» И за чертой — напасти.
Перескочив спасительный порог,
неуязвима я для смертной пасти,
всех неприкосновенней недотрог!

Чур-чур меня, страна и государство!
Я мысленно очерчиваю круг,
где мне привычно расточает дар свой
домашний круг и круг любимых рук.

Там чёрная нас не коснётся метка -
укроет крыша, небо и листва,
грудная клетка, из окошка ветка...
Мой домик детства, радости, родства.

Старые вещи

И дома те давно снесены,
и ушли в никуда коммуналки.
Только сны ими заселены,
чердаки, антресоли да свалки.

Этажерка, комод, абажур -
это вещи из прошлого счастья.
Новой жизни гламур и ажур
утвердились, победно их застя.

Стали чем-то ненужным, смешным -
белым слоником, старую ятью...
Что ж так мучит нам память и сны
бессердечное это изъятие!

Летний дворик. Висит простыня.
И, с восторгом внимавшая взрослым,
диафильмы глядит ребятня:
«Гуси-лебеди», «Орсо», «Морозко»...

Потирая коленки ушиб,
мы летели стремглав с косогора
и смотрели на танцы «больших»
через дырки глухого забора.

В Лету канули эти лета.
Лишь порой отзовется уколом,
как услышишь «лото» иль «лапта»,
«перочистка», «гамак», «радиола»...

Эти вещие души вещей!
Вещи старой любви и сиротства.
До чего ж наше время нищей!
До чего же в нём больше уродства!

Моё прошлое, ты не прошло.
Моё дальнее, как же ты близко!
В этом мире, где пошло и зло,
не поставят тебе обелиска.

Но, свидетели жизни былой,
извлечённые мной из подвала,
подтвердят перед завтрашней мглой,
что жила я, существовала...

Варю кисель и вспоминаю детство -
туманный край за маревом снегов, -
куда давно мечтается мне бегство —
молочных рек, кисельных берегов...

Как бабушкины спицы, промелькали
десятилетия, подменив меня.
Не в зеркале, а та, что в Зазеркалье,
мне руку тянет девочка, маня.

Что ждёт её — она не знает вовсе...
Я продышу туманное стекло
и выдохну: «Теперь уже не бойся.
Всё страшное уже произошло».

Когда бы плёнку отмотать к началу -
я выбрала б другую из дорог, -
где б слово не скиталось одичало,
пока не угнездится в паре строк,

где б неба не искать над головою,
а жить заботой суетного дня.
Где главным было б тёплое, живое -
родимое, родители, родня.

«Только пепел знает, что значит сгореть дотла».
И. Бродский

Пепел тёпел ещё, в нём теплится тихий лепет

слов, что умерли, но до конца ещё не остыли.
И душа упрямо из этого пепла лепит -
кого любит, и всматривается, не веря: ты ли?!..

Ничего не проходит. Просто меняет форму.
Изменяются лица, года, имена, сюжеты,
но любовь неизменна и вечно требует корма,
и летят в эту топку как в прорву сердца поэтов.

Что такое сгореть дотла, растворясь в пожаре,
только пепел знает, знаток и творец распада.
Ну а я не знаю, и знать не хочу, в нём шаря, -
мне бы искру, а уж от неё я зажгу лампаду.

Сон

Как мальчик детдомовский - «где ты, мама?» зовёт с экрана -
так я слова те шепчу пустоте, что тебя украла.
Сегодня приснилось: иду я ночью, пустынный город...
Тоска собачья, лютая, волчья берёт за горло.
Кругом чужое... чернеют тучи... ухабы, ямы...
Ищу повсюду, шепчу беззвучно: «ну где ты, мама?»
И вдруг навстречу мне — ты, молодая, меня моложе.
Рыдая, к ногам твоим припадаю и к тёплой коже.
Ну где же была ты все дни, родная? Что это было?
А ты отвечаешь тихо: «Не знаю... Меня убило...
Меня убило грозой весенней... вот в эти бусы...»
И я проснулась. Сижу на постели. И пусто-пусто.

И я вспоминаю, как ты боялась молнии с детства.
И пряталась в ванной, а я смеялась над этим бегством.
Кругом грохотало, а я хохотала, а ты — не пикнешь...
Цыганка когда-то тебе нагадала: «В грозу погибнешь».
Ах, мама, мама, она обманула, не будет смерти!
Ты в тёмной ванной, наверно, уснула под звуки Верди.
Как ты эти бусы носить любила, как ты смеялась!
Ах, мама, мама, грозой не убило, ты зря боялась!
Границы сна между адом и раем размыты, нечётки...
Я бус костяшки перебираю, как будто чётки...

Птичье пёрышко разноцветное
за цветочным горшком отыскала.
Непонятно, как через сетку оно
в кухню с улицы к нам попало.

Отливало зелёным и розовым,
так волшебю в ладони светилось...

Это мама его забросила,
это весть от неё и милость.

Шелковистое глажу пёрышко,
словно тёплую её щёку.
И не горе уже, а горюшко.
Не глухая стена, а щёлка...

Я так чувствую тебя, мамочка,
что почти уже не отличаю
от дождя или крыльев бабочки,
что в окно моё ночью стучали.

Никакого тут срока давности.
Ты со мною, ты здесь, я знаю.
Переполнено благодарностью
моё сердце к тебе, родная.

Ты столь близка, сколь далека.
О, если б ничего - что между,
о чём скулит моя тоска
и еле теплится надежда.

Мне некому теперь сказать
твоё родное имя мама,
и остаётся лишь писать
его призывно и упрямо.

На эти строчки ты подуй,
как на больное место в детстве,
погладь меня и поцелуй,
и мы с тобой спасёмся в бегстве.

Отцу

Твоего любимого Есенина
тихо мне нашёптывает осень.
Твоих писем ворохи осенние
прямо в руки ветер мне доносит.

Я читаю их резные линии,
угадать пытаюсь, где ты, как ты.
Я гляжу в твои просветы синие,
где бессмертье побеждает факты.

Вижу ясно руку твою с родинкой,
слышу твой неповторимый голос.

Ты моё отечество и родина,
я не верю смерти ни на волос.

Как тебе там, одиноко, пусто ведь?
Стану я твоею, прежней, тою.
Ты меня не сможешь не почувствовать
за своей гранитною плитою.

Твой светлый образ бродит по земле.
Он освещает жизнь мою во мгле,
как дом, что вырос посреди аллея
и смотрит на меня глазами окон.
Я догадалась — то не просто дом,
он кем-то Высшим послан и вedom,
я чувствую, склонившись над листом,
как он косит в окно фонарным оком.

Бессонница, весна ль тому виной,
что всё это случается со мной...
Ну что ты беспокоишься, родной, -
мне хочется сказать как человеку.
Я помню, я люблю тебя и жду,
с тех пор как ты в двухтысячном году
отбыл на новогоднюю звезду,
а я вдруг отошла другому веку.

Я возле дома этого брожу.
Я кладбище в душе своей ношу.
Но никогда его не ворошу,
чтоб не тревожить сон родных и милых.
Им плохо, если плачу я о них,
когда я вызываю их из книг,
когда я к ним взываю каждый миг
и вижу, что помочь они не в силах.

О как же нужно холить и беречь
любую из земных недолгих встреч,
как музыку, впитать родную речь,
запомнить насмерть жилочку любую,
и этим жить, и это пить и пить,
вобрать в себя и на себя надеть,
чтобы за вами в светлое лететь,
а не в мученьях корчиться вслепую!

Мне надо светиться душой и телом,
чтоб ты увидал Наверху.

Светиться мыслью и добрым делом,
и строчкой как на духу.

Свечением высшим тебе ответить,
оставить какой-то след.
И ты не сможешь его не заметить —
хотя б через сотни лет.

Это ничего, что тебя — нигде.
Ты уже давно у меня везде -
в мыслях, в тетради и на звезде,
и в дебрях сна...
Это ничего, что не увидеть.
Я всё равно не смогу предать
и ощущаю как благодать
каждый твой знак.

Бог не даёт гарантий ни в чём.
Выйдешь в булочную за калачом,
в карман потянешься за ключом -
а дома - нет...
Здесь больше нечем, некуда жить.
Мир разорвавшийся не зашить.
И остаётся лишь завершить
цепочку лет.

Невыносимо то, что теперь.
Неудержима прибыль потерь.
Недостижима милая тень.
Жизнь - на распыл.
Всё нажитое сведу к нулю,
прошлому — будущее скормлю,
но ты услышишь моё люблю,
где б ты ни был.

Гляжу на карточку: мать, отец,
бабушка, старший брат.
Созвездие близких родных сердец
за годы до их утрат.

Со странным чувством гляжу на них,
среди ночи гляжу и дня:
они так счастливы в этот миг.
Но как же так — без меня?

Что толку тыкаться в фото лбом?
Смешная ревность и боль.
Пока не мой ещё это дом.
И лет мне пока лишь — ноль.

Прошло полвека. И свет земной
сменился на звёздный след.
Вы снова вместе. И не со мной.
А где я? Меня нет.

Надо мною плывут облака, тяжелея от нежности,
изливая в дождях вековую печаль по тебе.
Что-то есть в облаках от твоей ускользающей внешности,
перемен, что могли бы, но не совершились в судьбе.

О волшебные блики мне с детства знакомого облика,
колдовство очертаний родного до боли лица.
Я пытаюсь увидеть в рисунке летящего облака
профиль мамы живой, побелевшие кудри отца.

Вот он, хлеб для души в виде свеженебесного ломтика,
освещаемый солнцем, омытый в слезах и дожде.
И рождается в мире какая-то новая оптика,
когда видишь насквозь то, чего не увидеть нигде.

За пределами любви — мрак и холод.
За пределами любви — беспредел.
Там Наташи первый бал правит Воланд.
Там безрыбье добрых дел, душ и тел.
Там по ласковым словам вечен голод.
Одуванчик их давно облетел.

За пределами стиха — пусто-пусто.
За пределами стиха — жизнь глуха.
Там неведома летальность искусства
и шестое чувство там — чепуха.
Там не смог бы говорить Заратустра.
У души б не развернулись меха.

А старые письма всё пишутся, пишутся...
Они ведь не знают, что нас уже нет.
Задумчивым облачком в небе колышались
и в ночь проливают серебряный свет.

По старому всеми забытому адресу
летят они стайкой над синей рекой.
Я их узнаю по весёлому абрису
корабликов, пущенных детской рукой.

Им вечно теперь мою жизнь перелистывать,
стучаться в года, что ушли как вода.
И птицам в ветвях виновато досвистывать
слова, что мы не дописали тогда.

Одноклассники

Одноклассники, одноклассники,
страшно вымолвить, сколько лет!
Ведь давно ли прыгали в «классики»,
и вот на тебе, и привет.

Нет уж многих, и нет родителей,
школа бывшая - как музей.
Тридцать лет мы себя не видели
в постаревших глазах друзей.

Я гляжу на них — не нарадуюсь,
слышу прошлого голоса.
Эта — сцену собой украсила,
та — почётной доски краса.

Ну а тот, в кого влюблена была,
что как горный смотрел орёл -
он работу нашёл не слабую —
своё счастье в горах обрёл.

Не прельщали тихие пристани.
Было дело — падал со скал,
но упрямо он брал их приступом,
чего нет на земле — искал...

Вот распито уже шампанское,
все очищены закрома.
Таня с Галкой, слегка жеманствуя,
нам жестокий поют романс.

Вот Лариса зажгла светильники,
я читаю стихи на бис...
Одноклассники, собутыльники,
собеседники — зашибись!

Врач, директор, певица — умницы
и красавицы — на подбор!

Только что-то одна — сутулится,
у другой — повлажневший взор...

Что с того, что мужья в Ирландии,
внуки в Гамбурге, всё ништяк.
Что-то видится мне неладное,
в королевстве Датском не так...

И лишь я — без оклада, статуса,
без карьеры, машин и дач -
себя чувствую виноватою
за отсутствие неудач.

А та зима особенной была.
Снег вышивал узоры белой гладью.
Земля была нетронута бела,
как мною ненадёванное платье,

подаренное девочке чужой,
уставшее висеть в шкафу нелепо.
Зима кружила шалью кружевной,
как будто в небо вырвалась из склепа.

То было много лет назад тому.
Мы шли и шли сквозь снежные завалы.
«А пирожки горячие кому?» -
звучало на углу и согревало.

И снова снег, бесшумный и большой.
Доверчивый, не ведающий злого...
А вот кому тепло души чужой?
Недорого, за ласковое слово.

Любви, отложенной на завтра,
не суждено произойти.
В сентябрь отравленного марта
не отыскать уже в пути.

Неведомо, что будет завтра.
О не откладывай, молю,
ни сумасшедшего азарта,
ни песни горькой во хмелю.

Всё будет — сумерки и звёзды,
новорождённой встречи миг,

но — поздно, поздно, слишком поздно! —
в тебе откликнется на них.

Поляны заслонит теплица,
гербарий умертвит цветы.
И долго-долго будет сниться —
чего себя лишила ты.

День плавно переходит в небыль.
Закат, пылающий в крови...
А небо, сумрачное небо,
полно прощенья и любви.

Сорвалось с языка — не поймалась,
как какого-нибудь воробья.
И сама потом не понимаешь,
ну зачем это ляпнула я?

Не сдержалась — и нет мне покоя.
Буду впредь молчаливее рыб!
А стихи — это нечто другое —
помраченье, наитье, порыв...

Будьте сдержанны в жизни цивилизной,
придержите любовь или злость.
А стихи — это то, что стихийно.
То, что с сердца сейчас сорвалось.

Спрятать бы серую грусть и тоску зелёную
в слов разноцветье, как радуга над рекою.
Чтобы земля замерла перед ним, влюблённая...
Где бы найти самоцветное слово такое?

Чтобы оно осветило душу до доньшка,
и засверкала бы та новогодней ёлкой...
И улыбнулась, как замарашка-золушка
в чудном наряде... жалко, что ненадолго.

Ибо хрусталь обернётся в простое стёклышко.
Надо спешить, двенадцать пока не пробилло.
В полночь в самих себя превратятся золушки
и будут с тоскою спрашивать: что это было?!

«Ты краски дал, что стали мне судьбою!» -
воскликнул в небо некогда Шагал.
Там с розовым мешалось голубое...
И он шагнул в открывшийся прогал.

И две души, что вырвались из мрака,
взметнулись ввысь, соединясь в одно.
Все тайны, что открылись взору мага,
он перенёс тогда на полотно.

И охрою окрашивались тучи,
на лужах серебрился блеск зеркал...
Как сказочно звучит, как сладко мучит
волшебное созвучие: «Шагал»!

Не красками рисунок тот, не тушью...
Он был его посланием богам.
О как бы так суметь пришпорить душу,
чтобы влекло её вослед слогам
по шпалам, бездорожью, безвоздушью -
как он тогда в бессмертие шагал!

А люди? Ну на что мне люди?
Г. Иванов

«А люди — ну на что они нужны?» -
в сердцах воскликнул некогда поэт.
И в этом никакой его вины,
что холодом отсвечивает свет.

Полярный круг. Сияние лучей
свободной, независимой души,
блуждающей во тьме своих ночей...
Но круг в окне морозном продыши -

течёт толпа как серое Ничто,
не вычлняя атомов любви.
Ах, люди, вы нужны мне ни на что,
как воздух, что не чувствуешь в крови,

как облако, что скроется из глаз,
как промельк незнакомого лица.
Но холодно становится без вас
в блаженном одиночестве творца.

Лебеди вы мои адские,
мой лебединый стан:
Рильке, Блаженный, Анненский,
Хлебников, Мандельштам...

До ваших перьев падкого, -
взвившихся в небосклон, -
вам от утёнка гадкого
через века - поклон.

Я обожаю каждого.
Чувствую неба вкус.
Как я всегда их жаждала,
этих волшебных уз!

И, захлебнувшись в лепете,
пробую голосок...
Белые мои лебеди,
киньте перо с высот!

*То, что Анненский нежно любил.
То, чего не терпел Гумилёв...*
Г. Иванов

Что же так Анненский нежно любил?
Тайну поэта скрывает преданье.
То, что в ларце заповедном копил -
муку сонета и яд ожиданья.

Боль старой куклы, шарманки печаль,
томные тени безумного мая,
ту, кого видел во сне по ночам,
молча колени её обнимая.

Зыбкость, неброскость и слово «Никто»,
то, чему отклика нет и созвучья.
Ну а зато, а зато, а зато -
вознагражденье за всё, что измучит,

за ощущение вселенской беды,
обожествленье тоски и досады -
бред хризантем и струю резеды
в чеховских сумерках летнего сада.

Что он любил? Состраданье смычка,
шарик на нитке, не кончивший пытку,

трепетность дрожи во всём новичка,
жизни бесплодную эту попытку.

Шёпот прощанья в осеннем дожде,
сладость «прости» на промозглом вокзале,
всё, что тонуло в любовной вражде,
всё, что друг другу они не сказали.

Рваные ритмы прерывистых строк,
то, чего нет, не могло быть, не может...
Скажете вы, ну какой в этом прок?
Но он любил... как любил он, о боже,

ту, что в мерцанье светил средь миров
всё вызывал заклинанием снова...
Всё, чего так не терпел Гумилёв.
Честное слово, мне жаль Гумилёва!

Анненский

Тихие песни под ником Никто
таяли в сумраке грёз.
Их знатоки в котелках и в манто
не принимали всерьёз.

Пышность словес, обаяние зла,
сплетни могли завести.
Подлинность лика немодной слыла,
скромность была не в чести.

Жил вдалеке от похвальных речей,
лавра не нюхал венки.
Самое главное — был он Ничей,
незащищён, одинок.

Статский советник был важен в гробу,
и равнодушен был свет,
что подменили, украли судьбу,
что он поэт был, поэт!

А. Кушнеру

Мне не нужно от Вас протекций,
публикаций, регалий.
Мне достаточно было текстов,
что дышать помогали.

Добывать на престиж талоны,
реноме из портфеля -
всё равно что кроить панталоны
из холста Рафаэля.

Отдаление в нашей дружбе
никогда не нарушу.
Мне от Вас так немного нужно -
только душу.

Старые поэты

У обречённых на старость поэтов
нет утешенья терновых венцов,
вздохов поклонников о недопетом,
прерванном лезвием или свинцом,

слёз сожалений толпы над могилой -
ах, как он молод, как рано ушёл!
Образ, легендой овеянный, - милый,
ибо о мёртвых — всегда хорошо.

Им так бессмертно среди мифов, сонетов,
гибель во цвете — красна на миру...
У обречённых на старость поэтов -
участь забившейся крысы в нору.

Им одиноко, бесславно, бессонно
ночи свои коротать за столом.
Призрак Альцгеймера и Паркинсона
их караулит за каждым углом.

Только они лишь остались на свете.
Пишут и пишут дрожащей рукой...
Быть им в ответе за всё на планете
и защитить нас чеканной строкой.

О критики, засуньте ваши вкусы
туда, откуда родом ваш колхоз.
Бессмысленны блошинные укусы,
когда себя пускаешь под откос.

Тот, что корит поэта «слишком личным» -
наверное, не чувствовал, не жил.
Вам кажется безвкусным, неприличным -
лепить слова из крови и из жил.

Ваш мир стерилен, пуст и худосочен,
округло-завершённый, как вигвам.
Поэт другим извечно озабочен,
к Копернику ревнуя, а не к вам.

Как раздражить в себе такого зверя,
чтоб он пошёл бесстрашно на таран?
Так написать, чтобы услышать «верю»
от Режиссёра всех времён и стран!

Писать своё, до грани, до предела,
не думая, на смех или на грех.
Поэзия должна быть личным делом.
И лишь тогда она нужна для всех.

Счастливый домик

Чулкова Анна, Анна Гренцион* -
задумчива, тиха, неприхотлива.
Ей был «Счастливый домик» посвящён.
И домик был действительно счастливым.

Она варила, шила дотемна,
фурункулы лечила и ласкала,
дрова рубила... Владека она
к тяжёлому труду не допускала.

Вся растворялась в этом дорогом,
поэте, муже, гении, вожатом...
Они мышей кормили пирогом -
такие были славные мышата.

«Счастливый домик» - исповедь и гимн
тому, что им казалось вечным летом.
Смятение, раздвоенность, трагизм -
всё отступало перед этим светом.

Он так любил, глядясь в её черты,
и профилем её любясь чистым,
когда она с улыбкой доброты
склонялась над иглою и батистом.

Очаг, уют, гармония родства.
Потребность в мирной жизни, тихом счастье...
Но вновь неприручённые слова
стучатся в грудь и рвут её на части.

Оно явилось, вихрем воздымая -
богиня, Муза, новое светило...

И всё, что было связано двумя -
одна легко и просто распустила.

И он бежал, как трус, не объясняясь,
презрев обитель комнатного рая,
туда, где будет падать мордой в грязь,
кричать и биться в корчах, умирая.

И не Вергилий за плечами, нет, -
он в зеркале её порою видел:
усталую и бледную, как снег,
застывшую в непонятой обиде.

Она глядит куда-то между строк
и рукопись его, как руку, гладит.
И всё печёт свой яблочный пирог..
А вдруг приедет ненаглядный Владик?

Он в лире мировой оставит след
и в европейской ночи канет в бозе.
А Анна замерла под вспышкой лет,
навек оставшись в этой светлой позе.

*Вторая жена Ходасевича

«Сезам, откройся», – говорю я сердцу
и размыкаю узкие края.
Оно лишь выход, потайная дверца,
возможность мира быть такой, как я.

Принять себя со всей вселенской дурью,
отринув смыслы, комплексы, расчёт.
Принять в себя рассветы, ночи, бури, -
пусть сквозь меня свободно жизнь течёт.

Забыть себя. Оставить на вокзале.
Чтоб мир в росе до клеточки проник.
И помнить лишь, что во вселенском зале
ты – микрофон, транслятор, проводник.

Жизнь разверни вокруг своей оси
и тишину внутри себя спроси.

Словам и звукам дай на миг покой -
и смысл у них появится другой.

Экран судьбы обратно разверни.
Пусть чернота пока ему сродни,

но ты увидишь сквозь смеженье век -
чем прозорлив ослепший человек.

Уйди в себя, неведомым вedom,
как речка замирает подо льдом.

Взгляни с высот созвездий и планет.
Оттуда — лучший вид на этот свет.

И лишь тогда, узревши благодать,
ты свистни мир — он не заставит ждать.

Налицо улыбка,
а с изнанки — боль.
Ты играй мне, скрипка.
Сыпь на рану соль.

Старые обиды,
не поймёшь, на что.
Вся душа пробита,
словно решето.

Сердцу нужен роздых.
Этот мир — дурдом.
Музыку как воздух
я хватаю ртом.

Гребни волн упруги,
хоть по ним скользи.
Помню твои руки
и глаза вблизи.

Надо мной смеётся
или плачет Бах?
Память остаётся
в пальцах и губах.

В этих звуках адских
радость словно злость...
В королевстве Датском
что-то не срослось.

Между мною-сейчас и мною-тогда -
пропасть пространства, года, беда.

Между мною-сейчас и мною-потом -
гулкое эхо в доме пустом,

груда разбитых корыт и сердец
и персональный света конец.

Да, у этой жизни солёный вкус.
Вслед за поцелуем её — укус.

Жизнь прожить — по минному полю пройти.
Шаг чуть вправо - чуть влево, и всё — лети!

Если можешь всё ещё — то люби,
а не в силах — пластырем залепи

то, что мучит, плачет в тебе, кричит,
каждой строчкой ночью кровоточит...

Или лучше вовсе залить сургучом,
чтоб не думать больше уже ни о чём.

Не возвращайся к прежним людям
на пепелища прежних чувств.
Сказать себе «давай забудем»
когда-нибудь я научусь.

Ужели вечно панацеей -
одна могила для горба?
Прощения теодицея -
самозащита для раба.

Огранка тех, кто нас ограбил,
не хлеб, а камень клал в ладонь,
и целованье тех же грабель,
и фокусы с живой водой.

Не оживляй его из мёртвых,
кто умер для тебя хоть раз.
Сотри черты, сотри всё к чёрту,
и мир увидишь без прикрас.

Друзей, которых нет уже нигде -
гашу следы, стираю отпечатки.
И привыкаю к этой пустоте,
как к темноте на лестничной площадке.

Дороги развивается клубок.
Уверенно вслепую ставлю ногу.
Я будущее знаю назубок -
оно короче прошлого намного.

Мой сквер, я столько по тебе хожу,
тебя как книгу старую листая,
что кажется, тебе принадлежу
частицей человешье-птичьей стаи.

Присаживаюсь на твою скамью,
твоею укрываюсь пышной кроной.
Давно меня здесь держат за свою
деревья, клумбы, дворники, вороны.

Людей роднят метели и дожди.
Как беззащитны слипшиеся прядки.
Прохожий, незнакомец, подожди!
Как дети, мы с собой играем в прятки.

Но представляю выраженье лиц,
когда бы то в реальности скажи я.
Как зыбки очертания границ
меж теми, кто свои, и кто чужие.

Учусь у воздушного шарика чувству полёта,
свободе расстаться легко, отпуская ладонь.
А в небе просветы как лестничные пролёты -
нам всем оказаться там, как о земном ни долдонь.

Нам всем раствориться в потоках космической пыли,
как в музыке мы растворяем обиду и злость.
А счастье прошло по касательной, пулей навывлет,
но кость не задета и, стало быть, всё обошлось.

Ах, жизнь так полна, что от смерти её не убудет.
И нежности тяжесть не раз нас заставит тонуть.
Но всё ещё будет — сдаётся мне — всё ещё будет!
Порою достаточно за угол лишь завернуть.

А ночь хрупка, как ваза из стекла.
Слова, которых я не родила –
перетекают в звёзды за окном...
Как сладко с ними думать об одном.

Опять не сплю. Не сон уже, а сплин.
Жизнь комом удалась, как первый блин.
Второй же не предвидится пока.
Покой не снится, скрывшись в облака.

Я бабочкой, пришпиленной к листу,
живу на боевом своём посту.
Пусть радуется ваш взор узоров сеть,
но не взлететь уже мне, не взлететь.

Душа моя, пожалуйста, нишкни!
Не жалуйся, хозяйева – они.
Уткнись в пальто, молчи себе в кулак.
Ты здесь никто, и звать тебя никак.

На аккуратных рытвинах аллеи –
Замедленные взрывы тополей.
Сегодня даже мирная земля
напоминает минные поля.

На сотни тысяч бесконечных вёрст
о боже, как дела твои странны –
разбросан бисер самоцветных звёзд -
пред свиньями единственной страны.

Всё так же гол неизбранный король,
хотя играет уж другую роль.
Трёхцветным стал колпак из кумача,
но одного - изделия — ткача.

Расхристан ворот. Нараспашку рот:
«Я – патриот!» – орёт с трибун урод.
Хамелеон хамеет с каждым днём,
и очень многих узнаём мы в нём.

Но как бы жизнь ни гнула долго нас,
где согнута — там, значит, солгана.
А стержень жизни — он упрям и прост.
И надо выпрямляться в полный рост.

Ввысь неуклонно — правила просты,
но страшно, коль достигнешь высоты,
где мир простёрт поверженный у ног,
а ты - непоправимо одинок.

Что делать? Как спастись? Пустырник пить.
Пустую жизнь пытаться полюбить.
На стёкла, запылённые паршой,
дышать окоченевшею душой.

Я тонула, а думали все, что я просто купалась.
Я кричала, визжала, а мне лишь смеялись в ответ.
И волна надо мною под дружеский хохот смыкалась.
И прощался, сужаясь до точки, солнечный свет.

Я призналась в любви, над Татьяны письмом умирая,
повторяя его обороты в корявых стихах.
А в ответ услышала: «Ой-ой, не могу, угораю!
Классно ты разыграла, подруга. Прикольно, Натах!»

Я бумажный кораблик в ладонях житейского моря,
бултыхаюсь в потоках невидимых собственных слёз,
где не верит никто в настоящесть бумажного горя
и крик сердца не слышит и не принимает всерьёз.

Слышишь, пахнет кострами и пепел Клааса стучится?
Видишь, крюк, что искала Марина, торчит из стены?
Ты не думай, что с нами уже ничего не случится.
Это очень серьёзно — на что мы сюда рождены.

Нас ведёт крысолов, а мерещится каждому — ангел.
Нас объятий сжимает и душит стальное кольцо.
Не пугайся, когда этот мир нам предстанет с изнанки.
Ведь страшнее, когда ты увидишь его налицо.

Под знаком рыб живу и ног не чую.
Плыву навстречу, но миную всех.
В миру не слышно, как внутри кричу я.
Одеты слёзы в смех как в рыбий мех.

Вот так-то, золотая моя рыбка,
всё золото спустившая в трубу.
Кому отдашь последнюю улыбку,
когда крючок подденет за губу?

Но разве лучше мучиться на суше,
глотаю воздух злобы и измен,
когда в стихии обретают души
покой и волю счастью взамен.

О небес легкокрылое чудо,
царство духа, чьё имя Ничто,
где неважно, кто я и откуда,
и какого фасона пальто,

где не нужно тепла и участия
и не больно от рвущихся уз,
где лучи заходящего счастья
обещают нездешний союз,

где гармония щедро уступит,
может быть, не один свой момент...
Ну а Бог, как всегда, недоступен.
Недоступный навек абонент.

Надоело глядеть,
как считаются деньги за кассами.
Не осталось людей,
кому хочется что-то рассказывать.

Перед носом стена,
на которой лишь дверь нарисована.
Я устала одна
состязаться с глухими засовами.

Этот выход не нов.
Позади - поколения проклятых.
Обходиться без слов
и чертить на песке иероглифы.

Вишнёвый сад

Не звонят колокольчики слова.
Наступила глухая пора.
Мы живём не под шелест вишнёвый -
под уверенный стук топора.

Этих белых одежд им милее
вызывающий блеск от-кутюр.
Детский лепет цветка одолеет
торжествующий шелест купюр.

Роковая судьбы неизбежность -
сад души, обречённый на сруб.
И моя старомодная нежность
запоздало срывается с губ.

Что любили — в утиль обратили,
подменили и облик, и суть.
Победили они, победили
и ногой наступили на грудь.

Гром литавр раздаётся победный.
Но в фальшивящем звуке альта
не «победный» мне слышится - «бедный»,
не «победа» звучит, а «беда».

Под удары дикарского бубна
будут жить, набивая суму,
забывая родимые буквы,
вопреки доброте и уму.

Наш силы неравны, неравны,
против зла — беззащитность души
и бесправная голая правда
против сытой нахрапистой лжи.

Но опомнится всё и очнётся
в неизвестном доселе году.
Тихо ветка в окне покачнётся,
отведя как рукою беду.

Словно после глубокого вдоха
утро в ухо прошепчет: пора...
И начнётся другая эпоха -
без лопахинского топора.

А кто заказывает музыку -
консерваторий не кончали.
Знакомства с муками и музами
они не ведали печали.

Они берут тупую силою -
не обольщеньем крысолова.
И нашу музыку насилуют,
и искажают наше слово,

гармонию — на какофонию,
а флейту поменяв на дудки.
Мне не дожить до их агонии,
но вот плясать под это — дудки!

Случай из прошлого

Когда нас журналистике учили, -
из той поры мне вспомнился пример,
как репортаж мне сделать поручили
о матери Героя СССР.

Я, помня указание главреда,
старалась не забыть любой вопрос,
с наградой поздравить, с Днём победы
и к празднику вручить букетик роз.

То было моё первое задание.
Я шла, сознанья миссии полна.
А встретила несчастное создание,
что плакала, притулясь у окна.

И жаловалась мне, что одинока,
без хлеба-молока уж сколько дней,
забыли пионеры к ней дорогу,
а обещали шефствовать над ней.

Всё ценное давно снесёно в скупку,
молчит за неуплату телефон...
Я убрала блокнот обратно в сумку
и зачехлила снова микрофон.

Купила и сварила ей покушать,
в аптеке что-то, капли, мазь для ног,
и, сев напротив, стала слушать, слушать
её невнятный горький монолог.

Как на войне погибли все три сына
а кто Герой из них, кто не Герой,
то было ей по правде всё едино,
все вместе спят теперь в земле сырой.

Всех засосала страшная воронка,
испепелив всю жизнь её дотла.
Последняя на мужа похоронка
уж в мае сорок пятого пришла.

Всё младшенького чаще вспоминала,
как он сирень дарил ей по весне.
(Он не Герой, другой, но я молчала,
и плакала безмолвно вместе с ней).

Война гремела, бомбы было слышно...
А за окном всюду цвела сирень,

как никогда разросшаяся пышно,
ведь рвать-то было некому теперь...

И всхлипывала в старенький платочек,
что отнято у ней войною всё.
«Теперь-то он, мой младшенький сыночек,
уж никогда сирень не принесёт...»

Я позабыла все свои вопросы,
корреспондентский статус и кураж.
Нелепыми смотрелись в вазе розы.
Не клеился парадный репортаж.

Я долго не могла найти зачина,
отринув трескотню фальшивых фраз.
Я не могла писать как нас учили.
Я написала правду без прикрас.

Мой материал начальством был охаян.
Кричал редактор, что со мною влип.
В монтажной оператор, чертыхаясь,
вымарывал из плёнки каждый всхлип.

Мою заметку в мать и душу края,
пытались мне доступно объяснить:
«Должна быть не такую мать Героя!
Должна гордиться, а не слёзы лить!»

А я, не понимая одиоза,
всё видела, кусая карандаш,
тоску её, её святые слёзы,
не втиснутые в бодрый репортаж.

И, испугавшись стать тогда такой же,
ушла от них на вольные хлеба.
О как я ненавижу толстокожий
тот оптимизм советского раба!

Парад вранья от вышколенных кадров,
лукавых цифр, победных рапортов,
посулов лживых о счастливом завтра,
разинутых внимающих им ртов!

Чур, чур меня, ученье государства,
его шаблонов, прописей, лекал!
Пить низких истин горькое лекарство
от миражей его кривых зеркал.

Людей ценить превыше, чем награды -
с тех пор я обучилась как азам.

И не бояться негатива правды,
и верить вопреки Москве слезам.

А шарик вернулся...

А он голубой.

Б. Окуджава

Этот шарик мне в руки не дался,
улетев в неземные края.
Сколько тех, кто меня не дождался
и кого не расслышала я.

Я во сне изнываю от муки,
прозревая беспомощный миг,
как их слабые тянутся руки,
не встречая ответных моих.

Ночью птица в окно моё билась.
Прямо в сердце — укол острия...
Это боль их ко мне возвратилась.
Всё вернулось на круги своя.

Мне весна эта — не по чину.
Неуместны дары её,
словно нищему — капучино
иль монашке — интим-бельё.

Не просила её грозы я
и капелей её гроши.
Ледяная анестезия
милосерднее для души.

Я привыкла к зиме-молчунье,
её графике и бинтам.
Но куда-то опять лечу я,
неподвластное всем летам.

«О весна без конца и без краю!»
Только что мне в её раю,
если я уже умираю,
если я уже на краю.

Ну куда же с посконной рожей
в этот тесный цветной наряд?
Как травинка, асфальт корёжа,
рвусь в небесный калашный ряд.

Над нами призрак сумрачный витает,
как будто чей-то взгляд следит в пенсне.
Я схоронюсь — меня не посчитают! -
по осени иль, может, по весне...

Зарыться в снег, закутаться, как в вату,
укрыться в книгу, музыку, вино...
А кто не спрятался — не виновата
та, что искала нас давным-давно.

Листопад

О концерт листопада, листопадный спектакль!
Я брожу до упаду, попадая не в такт
этой азбуке музык, попури из надежд,
изнывая от груза башмаков и одежд.
Смесь фантазии с былью, холодка и огня, -
листопадные крылья, унесите меня
вихрем лёгкого танца далеко-далеко,
где улыбки багрянца пьют небес молоко.

Люблю разглядывать лица деревьев,
жесты их рук, искривлённые станы...
Слушать их шелест, юный и древний,
я не устану, не перестану.

Разгадывать, кем они были раньше,
пока не взяла их земля сырая.
В шёпоте их не услышишь фальши.
Кажется, я и слова разбираю...

Вяз

Кивает мне каждое утро: «Здравствуй!»
А спрошу — обязательно даст ответ.
Качнёт зелёным своим убранством:
Вниз — это «да», влево-вправо - «нет».

Проснулась, смотрю за оконную сетку -
заледеневший бисер дождя
как жемчугом всю разукрасил ветку:
«вот, полюбуйся, то всё для тебя!»

А ночью брезжат в волшебном туманце,
в фонарном мареве неясны:
«Спокойной ночи, и пусть тебе снятся
самые-самые красивые сны...»

Утром воробушкам накрошила,
а вяз улыбается, увидав.
И ветка качается, став пушистой,
похорошевшей от крошек-птах.

Порой мне слышится ропот лёгкий
в листве, чья-то жалоба на судьбу...
А ветка изогнута, как у Лёвки
кисть покалеченная в гробу.

Но чаще чудится шёпот и трепет
родных, остывавших, уставших уст...
И кажется, что понимаю теперь я,
чего хотел от Марины куст.

Узкий круг

*А хочешь, возьму – отовсюду сбегу.
Побудем хоть сколько-то в узком кругу.*
Лариса Миллер

Любил немногих, однако сильно.
И. Бродский

А круг сужается, сужается,
всё отсекая на корню.
Друзья звонят и обижаются,
что забываю, не звоню.

Круг сузился до тесной комнаты,
до круга лампы над столом,
мой ближний круг — где только дом и ты,
и вяз за кухонным стеклом.

Но пусть друзья не ужасаются, -
мол, погружается на дно...
Мой мир сужается, сужается
до лишь того, что суждено, -

вдали от топота и ропота
неузнаваемой страны -
до слова, сказанного шёпотом,
до теплоты и тишины,

до стынувшей тарелки с ужином,
до книжных полок, что вокруг,
до глаз твоих, от счастья суженных,
в кольцо моих горячих рук.

И любишь ревностней и яростней
в привычной будничности дней.
Чем ночь черней — тем звёзды ярче в ней.
Чем уже круг — тем он сильней.

Чёрно-белую жизнь не люблю.
Головою в букеты ныряю,
покупаю цветное бельё,
разноцветный салат сотворяю.

Украшаю гирляндами в ряд
стены нашего скромного крова.
Пусть кричащей заплаткой горят
на материи жизни суровой.

Искромётную россыпь стекла
в детской трубке верчу пред собою.
Даже смерть там не чёрно-бела,
а полёт в зорево-голубое.

Фонарик

Когда не помог ни чинарик, ни шкалик,
и мир чернотой ночей задушил, -
зажги безобманный карманный фонарик,
и света весёлый оранжевый шарик
заглянет во все закоулки души.

Что толку в бесплодном мучительном даре,
в фальшивых союзах друзей и подруг, -
он высветит главное в мути и хмари,
домашний пожарик, слепящий фонарик,
правдивый и искренний маленький друг.

Пусть короток, как губермановский гарик,
зато так пронзителен этот рентген,
указчик пути в повседневном угаре,
нездешний, утешный, Всевышний фонарик,
недаром тебя так любил Диоген.

Пожалуй, не знаю мудрее подарка -
в фонарике сердца хранится тепло.
И если глухого не высветлит парка -
хотя бы покажет, как может быть ярко,
хотя бы напомнит, как было светло.

Всё миновало, прошла гроза,
И мне уже всё равно -
Смотреть ли в зеркало иль в глаза
тех, кто забыл давно.

Город из них быть составлен мог,
как говорил поэт.
Я возвращаюсь к себе самой
по переулкам лет.

Я невидимка. Иду сквозь строй
неузнаваемых лиц.
А на душе тишины настрой
и шепоток страниц.

*Жизнь, в берег бьющая могучею волною
и в грани узкие втеснённая судьбою.*

Е. Баратынский

Путь пройти от страниц до страниц,
отделяя зёрна от половы.
Изменяю кругу пёстрых лиц
с узким кругом музыки и слова.

Миру шлю привет издалека,
у окошка по утрам дежуря.
Каждый день — как в капле океан.
Как в стакане поднятая буря.

Высота, что клавишей беру.
Лента лет в замедленном движении.
Я - как мышь, родившая гору.
(Пусть пока в своём воображеньи).

Хорошо, что рядом ни души.
Счастье тихо жить, не поспешая,
окунувшись в тишину души,
словно в шапку тёплую с ушами.

Примеряю, ворча,
жизнь другую, и снова не впору.
Раньше жала в плечах,
а теперь — велика, длиннопола.

Я запуталась в ней -
мешковатой, смешной, несурзной,
в этом рубище дней
из материи однообразной.

Подгоню по длине,
отсекая, что чуждо и серо,
чтобы как-то по мне
эта жизнь бы пришлась и осела.

И вчерашний наряд
опадает с меня понемножку.
Ведь не зря говорят:
по одежке протягивай ножки.

Подгоняю по ней
свои замыслы, сны, ожидания.
Всё, что стало длинней -
я обрежу, не чикаясь с тканью.

Вот укутала стан
и сидит наконец как влитая...
О мой тришкин кафтан!
Вечно рвётся, где я залатаю.

И не верила, и не просила,
не боялась... но что-то никто
не пришёл и не дал, как гласила
поговорка. Ну что ж, а зато -

всё! Цветаевские посулы
оправдались всему вопреки.
И мерцанье огня из сосуда
мне дороже дающей руки.

Но всегда, до скончания лет -
чёрный список и волчий билет.

Зелёная улица

Не из числа отличниц или умниц,
не защищал меня бодливый рог.
И не было мне ни зелёных улиц,
ни скатертью — с соломкою — дорог.

Ни слов от дела, ни души от тела
не отделяла, получав голы.
Продавливала лбом упрямым стену
и ранилась об острые углы.

Но всё ушло, отбыло, отболело.
Умолкли пушки в пользу соловья.
Я замечаю, как зазеленело -
вот улица зелёная моя!

И светофор встречает лишь зелёным,
как к перекрёстку я ни подойду -
подмигивает глазом умилённым, -
мол, проходи, сколь надо — подожду!

Мой парус, ты уже не одинокий -
ему навстречу выплыла ладья.
И скатертью мне стелется под ноги
младенчески зелёная земля.

Списали со счетов, а я ещё живая...
Я стала лишь звездой, невидимой среди дня.
В погоне за рублём, за счастьем, за трамваем,
вам в суете сует не повстречать меня.

Я просто чуть взяла октавою повыше,
взяла себе в родню вечернюю зарю.
И вот парю себе невидимо над крышей
и с высоты на вас с улыбкою смотрю.

Реквием по библиотечным вечерам

Чутких ушей и внимательных глаз
как не хватает сейчас мне.
Сердце об это споткнётся не раз
в мире, где всё безучастно.

Там где был свет и улыбки друзей -
темень захлопнутых ставен.

Зал — что разрушенный тот Колизей -
мёртвыми стенами славен.

Пусть не пустует подмосток амвон,
блещет красивая люстра,
но навсегда замолчал микрофон,
тот, что усиливал чувства.

Некого гнать вышибалам взашей -
публика больше не рвётся.
Им, потерявшим такую мишень,
скушно, поди, без эмоций.

Власть министерств секретарш и ментов, -
всё в этом духе и стиле.
О держиморды культурных фронтов!
Радуйтесь — вы победили.

Непосильное сброшено бремя.
Налегке я вернулась домой.
«А хорошее было то время!» -
слышу я о себе же самой.

Это время подёрнуто дымкой.
«Ах, как жаль, что Вас слышать нельзя...»
Ощущаю себя невидимкой,
сквозь которую взгляды скользят.

Забросали цветами, списали,
на могилке насыпали холм.
Что ж я будто в пустующем зале
в отключённый кричу микрофон?

Что за дело, что пьеса всё длится,
молоточек стучит и стучит?
Расплываются в сумраке лица,
голоса угасают в ночи...

Разберите меня на цитаты,
фотографии, письма и сны.
Засушите как лук и цукаты
до какой-нибудь новой весны.

Простите, сорняки и лопухи,
трава моя, душа моя живая.

Из вас могли бы вырасти стихи,
а я вас беспощадно вырываю.

Как с поля вон дурной травы пучок -
из сердца вон, раз глаз уже не видит.
Пуста земля и на душе — молчок.
Зато никто уж больше не обидит.

Рвётся с прошлым последняя нить.
Размышляю, свой путь итожа.
Схоронить себя? Сохранить?
Это всё ж не одно и то же.

Слава богу, слыву живой.
Чёрт не выдаст — подольше буду.
Бабягодный статус свой
берегу я ещё покуда.

Возвращаюсь в свою колею.
До свиданья, лишние люди.
Околею, но там, где люблю.
Где меня лелеют и любят.

Ангел мой с профилем чёрта,
ангел мой с прядью седой.
Сладко сквозь годы без счёта
быть для тебя молодой.

Нас не настигнет бедою,
ей нас не взять на излом.
Ты у меня под пятою.
Я у тебя под крылом.

Варим картошку в мундире,
яблоки сорта ранет.
И никого в целом мире
нас ненасытнее нет.

Коса на камень, плеть на обух,
тень на плетень.
А мы с тобой живём бок о бок
который день.

Что нам Гекуба, мы Гекубе,
любое дно,
когда мы есть, когда мы любим
и заодно.

За разговорами, за чаем
часов как нет.
А если вдруг и заскучаем -
есть Интернет.

Хоть мы ещё не очень стары,
но наш уклад
нас сделал старосветской парой
на новый лад.

А Гоголь хоть женат и не был,
прожил как волк,
но в счастье истинном семейном
он ведал толк!

Август медленно вошёл
в осень внутривенно.
Нам пока с тобой ишо
хорошо, не скверно.

Но мелькают рубежи...
В миражи — не верьте.
Где взять силы, чтоб дожить
эту жизнь до смерти?

Знаки — проговорки Бога,
словно вехи на пути.
Замело пургой дорогу -
не проехать, не пройти.

Телефон навеки занят,
ручка лишь бумагу рвёт.
А автобус с тормозами -
ни на шаг никак вперёд.

Это знаки, это знаки -
рок, знамение, волшба.
Это значит, это значит,
это значит - не судьба.

Напоминальщик пароля в Сети
требует подтвердить,
что человек то окно посетил,
вставив латинскую дичь.

Как же несложно сие доказать -
фокус донельзя убог –
цифры и буквы в шифр увязать,
после — курсором на «ок».

Всё! Человек ты! Сомненья отбрось!
Пусть ты ограбил, убил,
пусть негодяй, алкоголик, отброс
или последний дебил.

Тут загордится и мерин в пальто,
живший свиньёю свой век.
Пусть для других и себя ты никто,
но для Сети — человек!

«Море мебели», «море мебели» -
магазинчик есть за углом.
В меру музыки, в меру дебили -
фразу пробую на излом.

Пусть останется он неведомым -
морем небыли и туфты -
«Море мебели», «Море мебели», -
мне хватает моей тахты.

Но звучит, как перпетуум мобиле -
стоит мимо опять пройти:
«Мо-ре ме-бе-ли», «Мо-ре ме-бе-ли» -
не зайду я к тебе, прости.

Тонет в шёпоте, тонет в лепете,
манит ликом средь образин -
«Море мебели», «Море мебели» -
неопознанный магазин.

О невинная божья коровка,
не воровка, не б... и т.п.,
не жидовка иль там полукровка
(ох, не любят их в нашем СП),

божьей кротости милый образчик,
поднебесья беспомощный глас.
В симпатичную крапинку плащик,
удивлённые бусинки глаз.

К Богу нет никакого доверья,
в чём смущённо признаюсь, друзья.
А вот в божью коровушку верю,
не поверить в такую нельзя.

Что вспорхнёт она в небо с ладошки
и — ведь в чём-то мы все малыши -
принесёт нам на усиках крошки,
крошки хлеба для нашей души.

Из забывших меня можно составить город.
И. Бродский

Имена дорогих и милых -
те, с которыми ешь и спишь,
консервировала, копила
в тайниках заповедных ниш.

И нанизывала, как бусы,
украшая пустые дни,
и сплетала из строчек узы,
в каждом встречном ища родни.

Был мой город из вёсен, песен,
из всего, что звучит туше.
Но с годами теряли в весе
нежность с тяжестью на душе.

Столько было тепла и пыла,
фейерверков и конфетти...
А со всеми, кого любила,
оказалось не по пути.

Отпускаю, как сон, обиды,
отпускаю, как зонт из рук.
Не теряю его из виду,
словно солнечно-лунный круг.

Да пребудет оно нетленно,
отлучённое от оков,
растворившись в крови вселенной,
во всемирной Сети веков.

Безымянное дорогое,
мою душу оставь, прошу.
Я машу на себя рукою.
Я рукою вослед машу.

Будет место святое пусто,
лишь одни круги по воде,
как поблёскивающие бусы
из не найденного Нигде.

Я немного ослаблю ворот,
постою на ветру крутом
и - опять сотворю свой город
из забывших меня потом.

А если в себя глубоко смотреть -
увидишь, что жизнь пострашней, чем смерть.
И только лишь ты протоптал мне след
туда, где ни страха, ни смерти нет.

Сколько раз проходили мы мимо нас,
мимо губ и глаз, мимо слов и фраз,
и в толпе задевало твоё плечо, -
что же сердце не ёкнуло: «горячо»?!

Бог смотрел с улыбкой сквозь облака,
говорил: «Ну пусть поживут пока,
не пришёл ещё этот отважный миг,
что навеки свяжет однажды их».

Пережить ещё предстоит тоску,
когда сердце резалось по куску
и давалось тем, кому дела нет,
что для них этот стук, и тепло, и свет.

Не убило, сделало лишь сильнее
в ожиданьи наших волшебных дней.
Продышала в морозном стекле кружок -
и увидела, что это ты, дружок.

Две дороги в одну мы сумели свить,
мы сумели время остановить.
Посмотри, у всех седина зимы,
а у нас апрель проступил из тьмы

и подснежники нежность свою несут
в те миры, которые нас спасут.

Ещё совсем чуть-чуть, и совпадут
все фазы, все пазы, колени, губы,
и, кажется, кого давно не ждут -
вдруг явится под грянувшие трубы.

Всему виной — зазор в себе самом.
Но что же делать, чтоб они совпали -
с уменьем — старость, молодость — с умом,
сны — с явью, холод кельи — с пылом спален?

Увы, не совпадает с далью — близь,
с землёю — небеса, а ночи — с днями...
Какое счастье, что хоть мы сошлись
осколочными битыми краями!

Обычная схема: сначала праздник,
романтика, будни уже потом.
А мы сначала в быту погрязли,
прежде чем обрели свой дом.

Как нас мурыжили по парткомам,
«личное дело», «поставить на вид»...
(Любям постарше сие знакомо,
а молодых вот весьма удивит).

Липкими сплетнями нас бомбили
и шепотками вослед молвы,
а мы любили, а мы любили,
пока ещё робко, ещё на Вы.

Когда ж отсплетничали и отвяли -
год прошёл или полтора -
только тогда разгорелось въяве
пламя сдерживаемого костра.

И нам плевать было на анонимку,
на пересуды, зависть и грязь.
Какое счастье — идти в обнимку,
не озираясь и не таясь!

Я до сих пор не могу привыкнуть
к тому, что билось, рвалось и жглось.
И мы никогда не дадим погибнуть
тому, что убить им не удалось!

Выбор

Одна, открыв себе стезю Господнюю,
ему лишь одному служила честно.
Другая выбирала преисподнюю,
своих страстей пылающую бездну.

Одна — в земной любви изверясь дочиста,
к тому прильнула, что предать не сможет.
Другая, испугавшись одиночества, -
к чужой и потной, но желанной коже.

Одна была рабою божьей верною,
тоскливо по ночам в подушку воя.
Другая шла по грязи и по терниям,
стараясь не увязнуть с головою.

Безгрешная Тамара с мрачным Демоном,
невинная Мария и Зарема...
Одна жила душой, другая — телом, но
в обеих что-то важное сгорело.

Задумалась и я над этим выбором -
прохладой и огнём, живым и мёртвым.
Вот если бы и мне такое выпало -
что предпочла бы — Бога или Чёрта?

Ложь Зазеркалья или правду зеркала?
Альков иль келью, ласку иль молитву?
И то и это — столько исковеркало,
не вынесших безвыигрышной битвы.

Небесный Дух, не знающий оплошностей,
Земля людей, погрязшая в рутине -
то всё единство противоположностей,
а истина всегда посередине.

Я выбираю место только там, где он,
кого люблю, где пламя или свечи.
Я выбираю ад с горящим ангелом
и рай, где будут страсти человечьи!

Нестерильная жизнь своих горьких страниц не стирает.
Стёрты в кровь ожидания, улыбки, слова, миражи.
Бог меня не простит, он за всё отомстит, покарает.
Но ведь ты, ты меня пожалеешь, не правда ль, скажи?

И меня не достанет вселенская буря и драка.
Пусть всё рушится, чахнет и сохнет душа на корню, -
каплю жалости этой в пустыне грядущего мрака,
как волшебную бусинку, я за щекой сохраню.

Остров жизни медленно шёл ко дну,
покрываясь слоем воды,
оставляя на гребне меня одну,
поглощая волной следы.

Исчезали вещи, слова любви,
уходили вглубь голоса,
и тонуло то, что звалось людьми
и глядело в мои глаза.

Всё уходит в бездну, сводясь на нет,
ухмыляется бог-палач.
Только ты — спасительный мой жилет,
куда можно упрятать плач.

Только ты — единственный огонёк
в море мрака, холода, лжи.
Я держусь за шею, как за буёк -
 удержи меня, удержи.

Трогательность весенняя и осенняя строгость, -
 всё это разноголосья и полюса любви.
На краю воскресения и падения в пропасть -
 только лишь ты зови меня, ты лишь останови.

Сколько грабелей целовано — только не впрок уроки.
Пусть не дано изведать нам дважды одной реки,
 пусть уже всё отлюблено - сладостны даже крохи.
 Я соскребу любёнышей с каждой своей строки.

Пусть парусами алыми машет нам каравелла.
 Ну а когда простишься ты, в прошлое уходя -
 буду любить последнее — как это у Новеллы -
 плащ твой, и гвоздь под кепкою, и даже след гвоздя.

Помнишь, как мы пошли с тобой в то воскресенье осеннее в Липки?
 Старых лип там уж нету почти, ну а новые - низки и хлипки.

Помнишь, ели мороженое, рифму искали к орешкам кешью.
И её подсказало над деревом небо синеющей брешью.

Шли по Взвозу мы к Волге, зашла я в бывший отцовский дворик,
где листва всё пышнее, а запах каштанов горяч и горек.

А у самой беседки застали свадьбу: невесты, платья.
Крики «горько», лобзанья, хмельные объятья, все люди братья.

«Офигительная!» - орал тамада за большие деньги.
«Сногшибательная!» - вторил ему, надрываясь, подельник.

Лоскутками цветными обвешан был памятник «всем влюблённым»,
что глядели из вороха тряпок озлобленно, оскорблённо.

Словно знали, что их прозвали в народе: «двум педерастам».
Да вот так этот мир и построен, где всё на контрастах.

Шли и шли мы по Набережной под пьяные свадьбыны вопли.
Начал дождик накрапывать и мы ненадолго промокли.

Пустовали кафе и лежали бомжи, как на лаврах, на лавках.
О театр абсурда, весь мир подшофе, нестареющий Кафка!

Нас укрыли зонты от дождя, а быть может от божьего рока.
Ах, веди нас, дорога, веди, доведи до родного порога!

Поскорей бы согреться, и чаю поставить, и хлеба, и сала...
Моё глупое сердце, ответь, для чего и кому я всё это писала?

Просто — всем невдомёк — наша жизнь - мотылёк, ветерка дуновенье.
Просто — этот денёк захотелось спасти, уберечь от забвенья...

Сквозь берёзок изогнутых арки
прохожу в золотом сентябре.
Как Лаура с душою Петрарки,
я пишу и пишу о тебе.

Исполняю Господне заданье
под дамокловым вечным мечом.
Оживаю под тёплым дыханьем,
согреваюсь под сильным плечом.

Пусть всё к чёрту приходит в упадок,
но я знаю блаженства секрет:
поцелуй меня между лопаток,
прошепчи мне полуночный бред.

То ли птица в берёзовой арке,
то ли ангел у Царственных Врат...
Да, пишу я слабее Петрарки,
но счастливей его во сто крат!

Пробуждение

Сна ещё не ослабла власть,
но сплетённое рвётся кружево...
Я ещё не сбылась, не срослась.
Поцелуем твоим не разбужена.

Это сказка ещё или быль?..
Грёз обрывки... не помню, о ком они.
Губ твоих ощущаю пыл,
но мои пока сном закованы.

От луча глазам горячо.
Кто-нибудь, веки мне разлепи мои...
Потягушечки... Где тут плечо
моего бесконечно любимого?

Белый свет побеждает тень.
Сколько ждёт нас здесь всякого-разного!
Здравствуй, день, новых дел канитель!
Как тебя мы сегодня отпразднуем?

Доброе утро

Утро. Разинуты горлышки птиц.
Хлебные крошки небесною манной.
Солнце без края. Любовь без границ.
Взор высоты голубой, безобманный.

Душем прохладным смываю следы
ночи. (Поэзия - «простыни смяты»!)
Маслом янтарным политы плоды.
Каша поспела. Заварена мята.

Губы цветам увлажняю слегка.
Над разноцветным салатом колдую.
Сырникам свежим румяню бока,
и у них вкус твоего поцелуя.

Пикает компик. Письмо от друзей.
Чайник бурлит. Телевизор бормочет.
Господи! Дай мне прожить этот день
так, как нога моя левая хочет.

Ветка в окошке кивнёт на ветру.
Ты улыбнёшься, как в прежние годы.
Вот и собака — живая, не «ру» -
в полной готовности мнётся у входа.

Доброе утро. Ни ссор, ни измен.
Цепь Гименея, где спаяны звенья.
Я не хочу никаких перемен.
Пусть остановится это мгновенье.

Смерть

Стучат к нам... Ты слышишь? Пожалуйста, не открывай!
Она постучит и уйдёт, так бывало и прежде.
Там что-то мелькнуло, как белого облака край...
Не верь её голосу, верь только мне и надежде.

Не слушай звонок, он звонит не по нам и не к нам.
Тебе только надо прижаться ко мне лишь, прижаться.
Смотри, как листва кружевная кипит у окна,
как пёрышко птичье в замедленном вальсе кружится.

Пусть будет всё то, от чего отдыхает Шекспир,
пусть будут страдания, рыдания, сраженья, лишенья,
но только не этот слепой и бессмысленный тир,
где всё, что ты любишь, беспомощной служит мишенью!

Прошу тебя, жизнь, подожди, не меняйся в лице.
Ночами мне снится свой крик раздирающий: «где ты?!»
Судьбы не разглядить, как скомканный этот рецепт.
Исписаны бланки, исперчены все инциденты.

День тянется тоненько, как Ариаднина нить.
И стражник-торшер над твоею склонился кроватью.
О где взять программу, в которой навек сохранить
всё то, что сейчас я ещё укрываю в объятье!

... И зонт складной не позабудь там, ладно?
Ну что ж ты у меня такой нескладный.

Опять ботинки вымокли до донца.
Очки возьми, да нет, не те - от солнца.

Ключи бери. Мобильник, ради бога!
Да осторожно там через дорогу.

А ты выходишь в дверь на снег и ветер,
и знает Бог, что ты один на свете.

Я знаю, он не тронет, не обидит,
когда - вдвоём, когда никто не видит.

Пусть озаряют облака твой путь лишь.
Пройдут года, века, а ты — пребудешь.

Пусть мира зуммер захлебнётся в трансе,
а ты, мой Мюллер, навсегда останься.

А ты, мой милый, будь везде и всюду.
Я буду здесь, я буду верить чуду,

что даже смерть не сгладит вечным глянцем
твоих на сердце отпечатков пальцев.

Они пылают розы лепестками,
они плывут по небу облаками.

Пока их защищаю, как волчица,
то ничего с тобою не случится.

Не бояться зеркал и своих запоздалых прозрений,
отцеплять от себя якоря и чужие клише.
И уверенно «нет» говорить, не скрывая презренья,
и свободное «да» не таить в отворённой душе.

Пусть струится весна, унося, как щепу, в самотёке.
Пусть холодная осень не сводит безжалостных глаз.
Всюду жизнь, даже в самой тоскливой глухой безнадёге.
Надо лишь не мертветь, пока что-нибудь теплится в нас.

Сохранить то тепло за душой, распихать по карманам,
прислониться к единственным в мире плечам и губам,
и питаться как манной бесхитростным самообманом,
предпочтя его правде, свободе и вольным хлебам.

С тобою мне и стариться не страшно,
альбомы пожелтевшие листать.
И каждый миг сегодняшний, вчерашний -
готов воспоминаньем лучшим стать.

Тепло плиты, домашнего халата.
Покой и ясность вместо прежних смут.

Так хорошо, что я боюсь расплаты,
и неизвестно, что ещё возьмут.

Так хорошо, что сердце не вмещает...
И я рукой держусь за амулет.
А может, то судьба мне возвращает -
что задолжала за десятки лет?

Ничего не ждут уже, не просят
на последнем жизни этаже.
Неба просинь заменила проседь.
Это осень подошла к душе.

Город гол и сер, как дом аскета.
Вечер стылый. Сердце растоплю.
Жизнь свелась к одной строке анкеты:
Родилась. Любила и люблю.

Узкий круг привычного пространства.
Шелест книг в домашней тишине.
Не хочу ни празднеств и ни странствий.
Всё что нужно мне — оно во мне.

Радоваться, что ещё живые.
Пробовать вино и сыр дор-блю.
Говорить неловко, как впервые,
это слово тёплое «люб-лю».

Во всём такая магия и нега,
что кажется, я в сказке или сне.
Как дерево, укутанное снегом,
стою и тихо помню о весне.

Хранит души невидимая ваза
всё то, что недоступно-высоко
и неподвластно ни дурному глазу,
ни жалу ядовитых языков.

О только б не рассеять капли света,
не расплескать в житейской мельтешне
и уберечь, как за щекой монету,
как птенчика, согретого в кашне.

Вспорхнул под видом птицы тихий ангел,
слетели кружева с берёз и лип,

и мир, который виделся с изнанки,
явил мне свой иконописный лик.

Метель поёт прохожим «аллилуйя»,
вишнёвым цветом город занесён.
О снегопад воздушных поцелуев!
Кто любит — тот воистину спасён.

А у нашей любви поседели виски и ресницы...
Тридцать лет уж минуло, а кажется, будто вчера.
Мой немой визави - хладнокровный ноябрь бледнолицый
сквозь окно наблюдает за утренним бегом пера.

Сумасбродной весне до него как-то не было дела.
Лето — слишком лениво, ему не до этих морок.
А зима недоступна за рамою заледенелой.
Лишь прозрачная осень читает меня между строк.

Только ей, многомудрой, про жизнь и любовь интересно...
Только ей лишь известно, что будет с тобой и со мной.
Я немножко умру, а потом понемногу воскресну.
И мы встретимся снова какой-нибудь новой весной.

Мы с тобою ведь дети весны, ты — апреля, я — марта,
и любить нам сам Бог повелел, хоть в него и не верю.
А весна — это время расцвета, грозы и азарта,
и её не коснутся осенние грусть и потери.

Мы одной с тобой крови, одной кровеносной системы, -
это, верно, небесных хирургов сосудистых дело.
Закольцованы наши артерии, спаяны вены.
Умирай сколько хочешь — у нас теперь общее тело.

Во мне жизни так много, что хватит её на обоих.
Слышишь, как я живу для тебя? Как в тебя лишь живу я?
Нет тебя, нет меня, только есть лишь одно «мыстобою», -
то, что свёрстано намертво, хоть и на нитку живую!

Ночь настанет и лягут в постель все, кто жизнью измучены.
Кто в свою, кто в чужую, а кто-то уже и ни в чью.
И никто не предскажет, кто в этом единственном случае
победит, проиграет, а может, сыграет в ничью.

И ответить не смогут ни Бог, ни гадалка, ни медиум,
для чего нам сияла с небес недоступных звезда.
Сериал моей жизни закончен. Фенита комедия.
Пусть богатые плачут, а я улыбнусь навсегда.

Четыре четверостишия

Не устелен мой путь ни соломкой, ни ватой,
и виною тому сама лишь.
Но бесстрашно в твои объятия падаю
и уверена — ты поймаешь.

Домашний круг. Обманчивая тишь.
Как стражники, ряды сомкнули двери.
О время, притворись, что ты стоишь.
А я прикинусь, что тебе поверю.

И пусть накопилась тоска и усталость,
а ты всё равно выбираешь to be.
Цени, что имеешь, люби что осталось.
Чем меньше осталось — тем больше люби.

А я прорвусь сквозь некролог
и заново прорежусь в люди я.
Финал — он в чём-то и пролог,
а смерть — к чему-нибудь прелюдия.